

## НА ОСТРОВЕ

Так только закрываю глаза - комната (она только что стала моей) вдруг исчезает: ее вытесняет фиолетовое рогатое пятно, плывущее на зеленоватых волнах, как гигантская тень корабля.

Таким мне представляется остров, на который я нынче ступил и на котором должен жить.

А сразу после этого слышу частое цоканье подошв о камень, тех деревянных звонких подошв, которые отбрасывают от себя круглые женские пятки. Словно кто-то сыплет на бляху грецкие орехи.

Трах... тах... тах... тах...

На фоне вечернего неба проплывают четыре женщины с корзинками на голове, напоминающие античные вазы. Правая рука согнута дугой между корзинкой и плечами, а левая свободно отброшена вниз и то показывает, то прячет ладонь.

Трах-тах-тах-тах...- цокает о камень дерево подошв.

Серая стена.

Расставив негнущиеся ноги, под нею стоит осел. Ему так скучно, как английскому лорду, объездившему весь свет. Глаза в белых мохнатых кольцах, как в очках, и долго сплывает из них тоска до самого беловатого носа. А может, ты болен, ослик мой бедный? Вата торчит из ушей, а хвост так покорно прикрывает обрубленный зад.

На piazz'e еще белеют колонны, и, наклонившись над морем, их черные силуэты рассекают линию неаполитанских огней.

На башне звонят часы: я насчитал два скромных и шесть солидных и полнозвучных звонов.

С улиц расходятся люди, магазины гаснут, закрывают глаза - двери и окна,- и остров слепнет.

А внизу шумит море.

И опять ослик, верно последний. Его уши еще издали трепещут, как пальмы на ветру.

Заполнил улочку громом огромных колес и мчит мимо меня, а я встречаю, как уже хорошо знакомое, его очки, тоску и нос, мышиный белый живот и неудачно обтесанный зад с крепко прижатым хвостом.

Теперь я иду в одиночестве между домами, как в коридоре. Две стены, будто почетная стража, пропускают меня вперед, над головой иногда блеснет лишь фонарь. Нет, я не один. Под ногами, как невольник, стелется моя тень и показывает путь. Потом она вдруг забегает назад и, уцепившись за меня, ползет по камням между двумя безмолвными стенами.

Трах-тах-тах-тах-так...- сыплют грецкие орехи свой звонкий голос на твердый камень, но где - впереди, сзади или надо мной - не знаю...

\*\*\*

Просыпаюсь в смутной тревоге и сажусь на постели. Знаю, что сейчас ночь, так что же случилось? Упорно и сильно звонит телефон. Может, какое несчастье, потоп, землетрясение? Звонки не дают опомниться. Часто, визгливо, как в истерическом смехе, они льются беспрестанно и наполняют тревогой дом. Встать

и спросить, кто звонит? Крикнуть телефону в глотку, заткнуть ее сердитым: что надо? Но я не встаю. Слышу в моей комнате какие-то тревожные шумы, что-то ходит по ней, затаив стон, шелестит в темноте бумагой, толкает в стены и дребезжит оконным стеклом. А телефон бьется в припадке истерики, смех нарастает, как безумный, и уже сливается с текущим ручьем плача.

Тогда я догадываюсь - буря.

Это она так раскачивает море и скалы: сдвинула остров, понесла его по волнам, а сама стервенеет и кричит в телефон.

Мне кажется, что пошатнулась кровать, качнулись стены - и я плыву. Ну, что же, плыть так плыть. Засовываю голову под подушку и сплю.

Встаю уже поздно, бегу не одетый к окну и открываю обе половинки. Ай-яй-яй! Хотя солнце и спит, но я вижу, что мы все плывем. Море вспенилось и кипит, а ветер, надув сосны на вершинах скал, гонит остров, как корабль, на этих черных парусах.

Море поблескивает злой лазурью, водяная пыль бьет его белым крылом.

Выгнулось, поднялось кверху и, пронзенное солнцем, упало. А за ним летит второе и третье.

Кажется, что ненавистные лазурные птицы налетели внезапно на море и бьются о него отчаянно грудью, подняв кверху широкие белые крылья.

Одеваюсь. Выхожу. Куда там! Нечем дышать. Ветер загоняет дыхание обратно, в грудь. Схватил за косы деревья и пригибает к земле. Стонет сам и стонут деревья. Воют от злобы узкие улочки, виноградники и дома. Качается земля под ногами, как корабельная палуба, и, чтоб не упасть, хватаюсь за стены. Согнутый вдвое, надутый ветром, как парус, вижу сквозь прищуренные глаза таких же, как я, ползающих пассажиров.

- Buon giorno!<sup>1</sup> - кричу.

Не слышат. Ветер сорвал мое приветствие и бросил в море. Вот оно несется в сбитой крыльями пене и сияет на солнце.

А может, и со мной поздоровались, а ветер так же стер улыбку с их губ и швырнул в море?

Все согнулось на острове-корабле, что несется по морю на черных ветрилах: пассажиры, скалы, дома, и только солнце, как капитан - веселое, бодрое, уверенное в себе.

Весь день мы куда-то так плыли, всю ночь напролет выло море, как пес.

\*\*\*

А на следующий день будто никогда ничего не было.

Море так невинно голубеет под стенами скал, и солнце так ласково светит, что даже камни смеются.

Земля сразу помолодела.

Фундаменты террас скалят зубы на солнце, а тени от виноградных лоз сплошь заткали густым узором золотые ризы садов.

- Buon giorno!

Склоненный виноградарь копается в жирной земле.

---

<sup>1</sup> Добрый день! (итал.)

Вот он поднялся и красный берег цветком загорелся на синеве моря. Между перевитыми лозами, капустой и финиками навстречу мне сияют глаза.

- Buon giorno, signore!..

Мы встречаемся впервые, но разве это имеет значение?

Он вытащил из земли тяжелую кирку и, не успев еще разогнуть спину и вытереть лоб, делит со мной свое удовлетворение и радость. Он мне говорит, что погода чудесная, что веет сирокко и можно ждать дождя. Я от себя добавляю, что сегодня зима пахнет весной, и наши глаза, как четверо старых знакомых, живут в полном согласии и приязни.

Передо мной - тропинка, зеленый бархат замшелых стен.

За мной - опять погружается в землю кирка, и красный берет то кланяется черной земле, то пылает на море. Солнце бродит в инкрустациях теней.

А я смотрю на небо. Оно сегодня тихое, глубокое и так щедро струится вниз, что я уверен: это оно наливает море лазурью.

Откуда идет тишина - от меня или входит в меня? Не знаю. Дремлют скалы и черные насесты пиний застыли в тиши. Кажется - мы все растворились в ней. Тянет опуститься на камни и пить, как и они, и купать свой взор в небе. Разве не славно было бы погрузиться в дрему, подобно террасам - каменным корзинкам виноградных садов? Уподобиться жилистым лозам, что будто ввинтились в землю, чтобы вытянуть оттуда золотистый сок, которым когда-то они нальют гроздь?

Солнце бродит в инкрустациях теней - черное по золотому, а я слышу тихий ропот голого винограда, ответные вздохи земли и вижу жилистые руки, подобные лозам, и бронзовые лица, каждый раз поднимающиеся, чтобы послать мне искренне-теплое золото привета:

- День добрый... день добрый...

Перегибаюсь через ограду и улыбаюсь ребенку. Он кудрявый, с запачканным носом, золотит солнцем свои голые коленки, сосет апельсин и смеется мне.

Ах, как хорошо собирать улыбки и отдавать их другим.

\*\*\*

Я люблю свою комнату. Белую, словно снегурка, с букетом ирисов на столе и с Ботичелли на стенах. Еще большую радость доставляет мне окно. Целый день в него смотрится море. От восхода до заката солнца голубеют в моей комнате окна, как морские глаза.

Нынче – не то.

Как они горько плачут сегодня, белесо-мутные, ослепшие, привыкшие видеть до этого лишь красоту синего моря! Померкли мои стены и мебель, расплылся Ботичелли, а по бельмам окон непрерывно сплывают слезы.

Чувствую беспокойство. Кто знает - отчего? Без конца встаю, хожу по комнате и опять тяжело сажусь. Меня стесняет одежда, мне неудобно в доме. Глухая тревога стучится в сердце, будто хочет войти туда. Перекладываю все на столе, без надобности двигаю книги и злюсь, что пропал карандаш. Где карандаш? Ощупал стол, разворошил бумаги, перемешал книги. Кто взял карандаш? Знаю, что он мне не нужен, этот куцый недогрызок, но знаю, что от того, найдется ли он, зависит мое спокойствие.

Окна все так же рыдают.

Все, к чему ни прикоснется рука, - влажное, вялое или липкое. Все пропитал своим дыханием сирокко. Отяжелела одежда, отсырел табак, и страницы книг словно вышли из бани. Где же карандаш?.. Ага! Вот он, никчемный... и швырнул так, что он сломался.

Что там делается за окном? Тревога таки достучалась. Толкусь по дочту, как шмель па окну, и ощущаю потребность переставить мебель, передвинуть шкафы, и стол, и стулья - все по-новому, все иначе: раздвинуть стеньг, а то и вовсе их свалить...

Что там делается за окном? Не успел открыть, как душный сирокко кладет мне на лицо теплую лапу и заполняет всю комнату влажным дыханием. То ли и у меня бельма, то ли и в самом деле ничего не видно? Серые воды густо сплывают от серого неба на посеревшую землю. Они уже смыли все краски, слиняло море, скалы и деревья. Monte Solaro плавает тенью в мутных просторах, а Castelione - как призрак: показался и исчез. И все постепенно исчезает: море, скалы, земля. Лишь из безвести густо мчатся в безвести, серые воды небес и тяжело дышит сирокко.

Закрываю окно и в отчаянии сажусь за стол.

Стены погасли, расплылся Ботичелли, по бельмам окон текут слезы, а у меня желание тоже расплыться тенью.

\*\*\*

А~ не пойти ли в город? Еще издали радостно встречаю розовые плиты городской площади, желтые стены finicolare и башню. Никому не известный, сажусь на скамейку, слушаю и смотрю. Сквозь белые колонны синее море, по Monte Solaro ползет туман. Подо мной с подземным гулом отправляется на берег вагон.

На башне звонят часы: три раза звонко и десять басисто.

Проходят люди, туда и сюда. Какие-то черные фигуры, матовые лица и красная красная гвоздика в петлице. Сбились толпой, а потом цепочкой оперлись на барьер, как галки на телефонном проводе.

Толстый портье, неуклюжий, как слон и паралитик. словно врос в желтую стену. Его руки Крота лежат на коленях. Вот он поднялся с трудом и переставил стулья, которые предлагает желающим. Концы переплетов торчат у них исподнизу. Мой парикмахер сдвинул котелок на затылок и, скучая, как всегда, разглядывает витрину с электрическими приборами. Стоит, как всегда, долго, упорно, потом зеваает и уходит.

На башне бьет одиннадцать.

Стройные гостиничные парни в новеньких костюмах с галунами в ожидании парохода постукивают каблуками по розовым плитам. «Hotel Royal» толкнул ««Hotel Pagano». «Hotel Faraglioni» закурил папироску.

Согнувшись и налегая на толстую палку, портье шорхает ногами и подает кому-то стул.

Нищий фронт подпирает плечом белую колонну, Дырявые брюки, порыжевший пиджак - все бесцветно. Словно он долго валялся в известковой яме. Креп на рукаве и из бокового кармана - кончик розового платка.

Вечность опять отбивает пятнадцать минут.

Туда и сюда снуют черные фигуры.

Море шумит.

Желтые спинки фиакров, поставленных в ряд, блестят на солнце.

По Monte Solaro ползет седой туман.

Парикмахера снова привлекает витрина. Котелок съехал на шею, а он упорно разглядывает электрические приборы так же, как каждый день.

Голубые в широких блузах факкино (носильщики) расхаживают с места на место, засунув руки в карманы: парохода еще нет.

Старый портье истерически зевает, как осел. Короткие руки крота лежат на коленях.

Проходят американки. Некрасивые, худые, ширококоротые, все в белых вязаных куртках и в желтых туфлях.

- Shall we have time before breakfast?<sup>2</sup>

- O, yes!..<sup>3</sup>

Холодные глаза скользнули по всему, словно льдинки. Дети гоняют по piazz'e собаку. Собака скачет и попадает кому-то под ноги.

Из-за белых колонн выплывает пароход - две голые мачты и черная труба.

Скучающие люди сбились в кучу и перегнулись через барьер. Всем интересно.

Дымок папироски змеится в воздухе.

На башне часы бьют еще раз.

На море всплывают и тут же опадают волны, словно потопают рыбацкие челны, погружая в воду белый парус.

Полицейский в черном плаще - щеки синие и нос красный - сонно машет в воздухе прутиком и, может, в тысячный раз поглядывает на одни и те же дома.

Под навесом ларька расстелились зеленой листвой купы белых, словно лысых, фиников.

Портье, наверное, врос в желтую стену.

Прошли две полногрудые девушки с непокрытыми волосами и с красными платками на плечах.

Осел, грохоча огромными колесами, ввозит на piazz'u тяжело груженный воз капусты, а толстая женщина, затрепетав в свободных и открытых движениях, как рыба в воде, о чем-то верезжит.

Подо мной с подземным гулом вползает снизу вагон, и в дверях появляются важные жандармы в треугольных шапках, в плюмажах и с густым серебром на фраках.

Первый извозчик привез пассажиров, и гостиничные парни налетают на него, как воробьи. Женщины-носильщицы поднимают на головы чемоданы желтой кожи.

Свободный факкино поет.

По Monte Solaro ползет седой туман.

Кони фиакров бьют подковами по камням.

Портье что-то жует, и его полное лицо ходит по толстому подбородку, словно плавает по волне.

За заливом синий Везувий придавил берег, будто смертельный грех.

Возвращаются обратно полногрудые девушки. На башне прозвонило двенадцать.

---

<sup>2</sup> Есть еще у нас время перед завтраком?

<sup>3</sup> O, да (англ.)

Люди снуют туда и сюда - кто знает, куда и для чего, а все это вместе похоже на театр марионеток, в котором режиссер перепутал ход пьесы.

Не такова ли и жизнь?

В отелях, сзывая на завтрак, глухо гудят уже гонги. Piazza помалу пустеет. Остаются лишь розовые плиты мостовой да белеют колонны на фоне синего моря.

На Monte Solaro медленно наползает туман...

\*\*\*

Я каждый день прохожу вдоль одинокого, заброшенного сада. Две-три зеленые террасы и кучка маслин. Больше ничего. Внизу горят собственным огнем травы, над ними поблескивают серебром седые короны.

Мимо проходят люди, стучит копытом о дорожку осел, а садик стоит себе одинокий, запущенный и забытый, и лишь прохожий скользят взглядом по нетоптаным травам да солнце ходит вокруг, передвигая тени. Вот они мягко постлались, словно отражаясь в воде, такие же причудливые и кривобокие, как и сами маслины.

Опираюсь на ограду и часами слежу, как бесшестно бродят тени с места на место. Они перерезали первую террасу и набросили сеть на другие. Травы меж ними горят. Или начинают менять свою форму: там укоротили ветку, тут слились воедино и подкатились черным клубочком под корень.

На тихие травы один за другим, подобно черешневому цветку, откуда-то слетают два белых мотылька; то блеснут на солнце, то посереют в тени. Потрепещут крыльями, коснется самец самочки и дальше идет ухаживание.

Серебряные короны позванивают вверху листвой.

Иду дальше.

На Punta Traqara<sup>4</sup> сажусь и будто ныряю в море. Его нежная лазурь вливается в меня через глаза и наполняет меня целиком. Солнце растапливает скалы, а само засматривается на горизонте в зеркало моря и поджигает воду.

От нестерпимого блеска закрываю глаза. И тогда слышу, что под ногами шумит. Там море рвет свою синюю одежду об острые скалы на белые клочки и забрасывает ими весь берег. Даже сквозь веки вижу тот белый, пронизанный солнцем клетот. Воистину чертова кухня, где вечно кипит и сбегает молоко.

Подходят люди и треском чужестранных слов заглушают море.

Тогда возвращаюсь обратно.

Опираюсь на ограду и снова странно спокойно смотрю на одинокий садик. На зеленые террасы, на купу маслин. Тени удлиняют свои суставы, ложатся на другой бок, и вырастает на земле второй, лежащий садик.

Серьге короны вызванивают вверху, под ними весь день тихо светятся травы.

Иногда по ветвям проскачет птица, потрясет хвостом. Иногда почистит носик...

\*\*\*

Старый Джузеппе вечно поет. И что за дело, что ему семьдесят лет и черный беззубый рот: он всегда открыт у него для песни.

---

<sup>4</sup> Название моста.

Седая щетина дико ежится на щеках, на макушке берет, а голые руки никогда не знают покоя. Еще море спит, а он уже скрипит по прибрежному песку подошвами и гремит железом на тяжелых дверях рыбацкого склада. Предутренный свет отесняет тьму в углы склада, и первым своим заплатанным боком смеется ему баркас. Потом улыбаются неводы и канаты, старая парусина и поплавки, удилища и весла. Все они дышат солью и йодом.

Джузеппе втягивает в себя этот запах, облизывает вечно соленые губы, выносит на берег ведерко краски и тут же начинает петь. Он будит море. Правда, в его песне есть немного серы с Везувия и немного ослиного крика, но – ничего. Море любит это. Еще белесое, словно укрытое на ночь покрывалом, оно сладко потягивается и в сонной неге нежно выбрасывает первые волны на берег.

А Джузеппе поет. Согнувшись, размешивает краску и посылает морю крылатые слова. Какая она пышная - его страна, когда цветет виноград! Когда ветер несет золотистую пыльцу цветения над садами, солнце пьянит, как хорошее вино, а тебе еще нет и двадцати лет!..

Пузатые барки-белые, зеленые, голубые, - и те, что засосались в прибрежной гальке в бесконечном ряду, и те, что воткнулись носом в воду, - единственные слушатели Джузеппе. Да еще море. Оно уже проснулось, вздрогнуло, заголубело, звонко стучит в пустые бока лодок и стелет под ноги Джузеппе шипящую пену. А он красит низ барки синим, каким море бывает в полдень, занимает у волн зелень на окантовку и белит борта цветом пены, которую море мечет ему под ноги.

Седая щетина дико топорщится у него на щеках, берет пылает диким маком, а он верезжит на весь берег и на все море.

Что ж было дальше? Отцвели черешни, а теперь вот - ягоды. Что ж дальше? Милая ставит лестницу и рвет ягоды. Свежие ягоды у черешни, а еще свежее ножки у милой. Что ж дальше? Лестница поломалась, а милая у него в объятиях... Ах, хорошо, когда солнце пьянит, как вино, а тебе еще нет и двадцати лет!

Джузеппе облизывает губы, соленые от моря, а его голые по локоть руки тем временем кладут на лодку краски, играющие так же, как и морские.

Солнце уже показалось. Черные тени барок густо усыпали берег. Помалу оживают каменные стены Marin'ы. Па балконах и между аркадами появляются полуодетые люди и развешивают белье на белых от соли стенах. Открываются рыбацкие склады, темные и влажные, как пещеры, скрипит под ногами галька: рыбаки несут на барки тяжелые бронзовые сети, словно пышные волосы русалок. Пахнет канатами, рыбой и йодом. Море так бодро плещет в челны, что заслушаться можно. Возле мола выгружают капусту. Осел аж заходится от плача. Торговцы открывают винарни и магазины. Появляются дети.

- Добрый день, дед Джузеппе!

Куда там! Не слышит. Купает на солнце голые руки в желтых жилах, а в черном рту скрипит неподмазанная песня, словно кочет перекричать осла.

Кладу ему руку на нагретую уже спину. Тогда он на полуслове обрывает песню. Разве он забудет, с чего снова начать?

Расправляет спину и показывает, смеясь, искалеченный палец.

Что такое случилось?

А это он вчера ловил мурен. Забросил в море между камнями принаду и посвистывал тихо. Бестии любят музыку. Танцуют себе возле принады и раскрывают рты. Гляди только, чтобы вовремя дернуть леску. Блеснет на миг в воз-

духе гадючье тело - и все тут. Бей только о камень изо всей силы, а то укусит, будто собака. Однако не уберегся...

Снова показывает палец и подхватывает песню на том самом месте, на котором прервал.

Я достаю из кармана и ставлю на гальку бутылку вина, сыр, апельсины. Тогда Джузеппе перестает петь. Он охоч до таких вещей.

Славный получился у нас завтрак на песочке, между морем, плещущим под самые скальп, и бортом барки!..

Женщины мимо нас таскают на голове камни. Они здороваются со стариком. Рыбаки сталкивают в воду челны, полные темных сетей и что-то кричат Джузеппе. А он наливает себе вино, прищуривает глаз и ловит красный отсвет в стакане.

- Благослови и вас мадонна!..

Бритый патер в мохнатой шляпе, как стриженный пудель, подбирает черную сутану, блестящую на толстых ляжках, чтобы перепрыгнуть через лужу. Джузеппе ставит на землю вино и набожно снимает берет. Веет ветерок. Далекие барки распускают ветрила. Весла блестят. А море так задиристо плещет о берег, так призывно звонит в челны!..

Джузеппе смеется. Он знает, чего я хочу.

Шаркнула баржа по мокрому песочку и закачалась. - Куда?

- Прямо на солнце!

Берет пылает, обветренные руки на веслах - точно крылья в лазури. Мы летим, я, во всяком случае, так ощущаю, может, от синевы, которая нас окружила. Она над нами и под нами, впереди, сзади, с боков. Даже воздух кажется синим. Не был я уже птицей когда-то?

Весла несут нас на крыльях, соленый ветер надувает легкие, кто знает - на море или на небе ключом вылетают нам навстречу паруса барок, свободных, как птицы. Я чувствую у себя за плечами крылья.

Джузеппе поет. Он здесь больше хозяин, чем на земле. Он, верно, подумает прежде, чем скажет, от кого он родился: от женщины или от морской волны. Старик отдал морю сына и внука, зато сколько поднял из его глубины! Кто сосчитал!.. Море било и грызло его, как прибрежную скалу, он стал шершавым, как губка, просолился, словно канат, но душа его голубеет, как погожее море, и глаза прячут солнечные лучи. Он знает все восемь ветров, как родных братьев, понимает язык неба и моря и собирает рыбу, как пахарь хлеб с поля, будто он сам засеял ею морские глубины.

Мы часто отправлялись вдвоем за рыбой. Днем и ночью. А скольким штучкам научил меня Джузеппе! Мы брали горшочек, полный камней и принады, и опускали на веревке на дно. Наверху оставался лишь поплавок. Там вскоре должна была угнездиться, как дома, восьминогая уродина-спрут, и когда его вытаскивали, он, обвив щупальцами руку, присосался к ней и жрал нас рассвирепевшим глазом. Но Джузеппе пеньками зубов перегрыз ему шею, и это был конец: на днище челна валялась только противная, как кисель, масса. Мы ловили неводом, удкой, на крючки. Вытаскивали красных колючих чертей, голубых морских вьюнов, приплюснутых петухов и иглу-рыбу, сверкавшую на солнце, как остро наточенная коса.

Когда морс зыбилося, Джузеппе капал в него оливу. Мы смотрели через желтое пятно, как в окошко, до самого дна. Видели белый песок, таинственное покачивание



морских водорослей, жизнь ежей, ленивое ползание крабов, подводные пещеры, забавы, отдых и драки рыб. Ежеминутно, как оправленные самоцветы, светились глаза рыб радугой, разными красками переливались спины и раскрывались всегда голодные пасти. Все это была добыча Джузеппе.

Он даже кормился по-особому в те дни, когда рыбачил. Кривым ножом, своим верным товарищем, отковыривал от скал ракушки и, высасывая перламутровую слизь, жмурил от удовольствия глаза. Глотал живых креветок, мелких рыбок и откусывал щупальцы у молодого спрута, хотя тот не давался и хватал за язык. Все это были его любимые «фрукты». Соблазнял и меня. Но я до этого еще не дошел.

Теперь он поет. Красное вино играет в его жилах, берег пылает на солнце, а руки слились с веслами в крыльях и режут ими голубые просторы. Мы летим. Под нами синяя глубина, над нами такая же бездна. Далекий остров залег облаком в небе. Свежий ветер щиплет щеки и надувает легкие. Мы летим...

\*\*\*

Она прибыла утренним пароходом, может, за час до этого, не раньше. Иначе я бы ее уже не видел.

А подумал об этом я лишь потому, что мы встретились взглядом.

До сих пор наши глаза отдыхали на море, чужие, далекие, как две параллельные линии, что ушли в мир без надежды сойтись.

Внизу спускались к морю цветущие лимоны, а апельсины словно звезды облепили черные кроны. Солоно дышало море.

Я еще раз оглянулся на нее.

Чистый матовый профиль повернулся медленно и опять ее глаза нырнули в мои.

Француженка или британка? Нет, верно, американка.

Толстые, налитые пивом немецкие бочки со значками туристов на груди и с пылью на ногах, отделили меня от нее. Захожу с другой стороны и становлюсь ближе. Вижу, как треплет ветер голубой конец вуали по серым скалам, замечаю дорожный мешочек и золотые пряди за ухом.

Посмотрит или нет?

Проходит целая вечность. Не шевельнулась.

Что ей и в самом деле до меня или мне до нее? Поворачиваюсь спиной и рассматриваю Monte Solaro, поросшую кустами. Надо забраться когда-нибудь туда. пешком или на осле.

Какие глаза у нее? Не успел разглядеть. Неужели не увижу?

Мне кажется, что она шевельнулась, собирается уходить. Бросаюсь слишком поспешно в толпу и наступаю кому-то на ноги.

- Ах, извините!..

Проталкиваюсь плечом и встречаюсь с нею. Словно фиалки после дождя.

Темные, мягкие, блестящие. Глянула и закрыла. Теперь - конец. Иду за ней. Куда она - там и я буду. Изображаю равнодушие, рассматриваю как будто дома, но вижу только голубую вуаль, золото пряди на шее и маленькие каблочки из-под юбки.

Оглянется или нет?

На повороте останавливается, рассматривает какие-то растения и поворачивается ко мне лицом...

Теперь мы снова над морем, и снова наши взоры бродят по синей пустыне, но я уверен, что они и там встретиться могут.

Ведь я хочу заглянуть в них.

Не поддается. На левой щеке- появляется легкая краска, но глаза - упрямо на море.

Теряю уже терпение. Я должен их видеть.

И вдруг они всей тяжестью ложатся в мои нетерпеливым вопросом:

- Чего ты хочешь?

- Люблю...- уверяют мои.

Ее глаза не знают, что отвечать, и мечтательно начинают ласкать скалы, берег, лазурь.

Тем временем я гляжу на нежную линию шеи, мягкий вырез на груди, на изгиб руки, чистый и нежный. Знаю, что пальцы в перчатках - как лепестки роз. Все это оседает во мне и крепнет, будто я все это видел и голубил годами.

И когда словно нечаянно раскрывает она свои влажные фиалки, мои глаза с уверенностью говорят:

- Ты моя.

Она еще не знает, «чья», и немного колеблется.

Но я не колеблюсь и жду лишь, когда наши глаза встретятся.

- Ты моя.

Глаза ее вдруг раскрывают свою лучистую бездну, готовую поглотить меня, и твердо говорят:

- Твоя.

- Навеки?

- Навеки.

Разве может быть иначе? Стоим на одной земле - едва десять шагов между нами,- одно солнце нас объединяет, одна и та же природа входит в нас, и даже наши тени сливаются вместе.

Мы то купаем очи в море, то очи в очах...

Нас только двое на свете. Что нам до других? Но откуда-то появляется третий Как облако, что неизвестно откуда взялось и погасило солнце.

Меряет землю худыми ногами в чулках, перекинул рядом с ней на перила свой английский костюм и вынул бинокль. Что-то ей говорит, как старый знакомый, и передает бинокль.

А она взяла!.. А она взяла!..

Приложила м о и фиалки к тому самому месту, где только что были глаза чужого, - как ни в чем не бываЮю.

Нет, я этого не стерплю.

- Уважаемый господин!

Нет, это возмутить даже может. Я закипаю.

- Уважаемый господин! Кто вам дал право вести себя так? Понимаете ли вы, что с вашей стороны это наглость?.. Он отчасти понимает язык моих глаз, потому что оборачивает ко мне лицо и бросает удивленный взгляд. Потом равнодушно отводит его обратно. Ну, черт с ним!

Но она? Которая недавно клялась мне: навеки!.. И стоило появиться лишь каким-то худым ногам и английскому костюму... Вот она – женская верность.

Чувствую, что я ревную. Поворачиваюсь к ней спиной и даю себе слово, что между нами теперь все кончено. Любуйся своим британцем... Даже не гляну. Меня больше интересует красота природы, вечная и преданная. Не обернусь ни за что. Даже если заплачешь и будешь умолять. Ни за что...

Чувствую взгляд на шею. Он притягивает меня. А может, это лишь кажется... Они уж так увлеклись друг другом, что для них я не существую. Разве что резко обернуться и накрыть голубков? Но какое мне дело до чужой любви?

И все же оборачиваюсь, совершенно холодный, и свтечаюсь с ее глазами. Такие покорные, умоляющие и невинные!

Тогда я от души все прощаю и забываю.

- Любишь?

- Кохаю.

Теперь снова хожу я за ней. Где она – там и я неотступно. На британца – ни тени внимания.

Его для меня нет. Иду поодаль, за голубой вуалью, или навстречу, чтобы глянуть в глаза. Она выбирает открытки, и я покупаю. Уже полные карманы. Рассматривает витрину – я стою рядом. И все для того, чтобы поймать взгляд, брошенный тайком, лукаво, через головы людей. Так солнце порой просовывает лучи через дождь.

Уже день на исходе и засветилась ночь, а я все на ногах. Где она – там и я. Она уже устала, пора бы ей отдохнуть. Напоследок, при свете звезд, заглядываю в глаза.

- До завтра? – спрашивают мои.

- До завтра... - отвечают фиалки.

- Моя?

- Навеки.

А завтра, еще и не рассвело до конца, бегу на вчерашние тропки. И вдруг останавливаюсь, не добежав. Меня задерживает запах паровозного дыма. Я знаю... я уверен, что ее уже нет. Она уплыла утренним паровозом. Вот он, едва сереет на сером море, даже развеялся уже дым.

Стою на дороге и втягиваю в себя этот легкий запах.

Это все, что осталось от моего романа...

\*\*\*

Всегда волнуюсь, когда вижу агаву: серую корону твердой листвы, зубатой по краям, и острой на верхушке, как обтесанный кол. Расселась по террасам и коронует скрытую силу земли. Или ее цветок - высокий, похожий на мачту, зеленый ствол, а на челе - венец смерти. Ибо такова тайна агавы: она цветет, чтобы погибнуть и умирает, чтобы цвести.

Вот она - та, что вечно меня волнует, что только один раз цветет цветком смерти. Крепко свернулась сизая серединка и в муках, сжав зубы, отрывает от сердца листок за листком. Окаменела на каменистой почве и с ужасом слушает, как растет, сплет и рвется из нее душа. И так годами.

Там глубоко где-то, под серым звоном корней, что-то зреет тайком и вытягивает силы из сердца земли, а агавы смыкает в отчаянии листья, будто чувствуя, что роды чреватые смертью.

И на каждом листке, отрываемом с болью от сердца, остается след от зубов.

На все свое время, для всего наступает свой час.

И для агавы. То, что таилось в ней, разрывает наконец крепкие объятия и выходит на волю, как великан, неся на могучем теле, с которым сравняться лишь соснам, цвет смерти. Овеянная ветрами, близкая небу, агавы видит то теперь, чего не видела раньше. Она видит море и скалы, первая встречает восход солнца, последняя ловит красный закат, а ветер шумит рядом с ней, как и в кроне деревьев.

Сизые листья под нею тем временем вянут, отклоняются, как нездоровые, по ним хлещут дожди, мертво блестя синие зубы на солнце, корона сохнет и мякнет, как тряпка, а цветок на высоком стебле приветствует солнце и море, скалы и далекие влажные ветры гордым и безнадежным приветом преждевременно обреченных на смерть.

Открывая утром окно, я то и дело вижу ряд цветущих агав. Стоят стройные и высокие, с венцом смерти на челе и приветствуют далекое море.

*Ave mare, morituri te sautant!*<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Да воославится море, обреченные на смерть приветствуют тебя! (*лат.*)